

ЭЭЭ

Де

Эмиль Золя

Деньги

«ИП Стрельбицкий»

Золя Э.

Деньги / Э. Золя — «ИП Стрельбицкий»,

«Деньги» — увлекательный роман знаменитого на весь мир французского писателя, публициста и общественного деятеля Эмиля Золя (фр. Émile Zola, 1840–1902).***Господин Саккар — страстный биржевой игрок. Его азартность однажды уже сыграла с ним злую шутку — он потерял все состояние и особняк. Но он хочет отыгаться и надеется на помощь самого министра.Эмиль Золя также прославился благодаря своим произведениям «Его превосходительство Эжен Ругон» и «Западня».Уже при жизни Эмиль Золя пользовался огромной популярностью среди читателей. Его сочинения переведены на многие языки мира, его великолепными романами зачитываются и по сей день.

© Золя Э.

© ИП Стрельбицкий

Содержание

I	5
II	25
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Эмиль Золя

Деньги

I

Часы на бирже пробили одиннадцать, когда Саккар вошел к Шампо, в голубой с золотом зал, с двумя высокими окнами, выходившими на площадь. Окинув взглядом ряды столиков, за которыми теснились посетители, он, казалось, удивился, не найдя того, кого искал.

Один из гарсонов, сновавших по зале, проходил мимо него с подносом.

– Что г. Гюрз еще не был?

– Нет, сударь.

Поколебавшись с минуту, Саккар уселся за освободившимся столиком в амбразуре окна. Пока переменяли прибор, он рассеянно смотрел на улицу, следя за прохожими. Даже когда стол был накрыт, он не сразу опомнился, поглощенный созерцанием площади, дышавшей веселием ясного майского дня. Теперь, когда все завтракали, она была почти пуста; скамейки под каштанами, одетыми новой свежей зеленью, оставались незанятыми; длинная линия фиакров вытянулась вдоль ограды; бастильский омнибус остановился у конторы без пассажиров. Солнце палило, затопляя своими лучами здание биржи с его колоннадой, высокими статуями, балконом, на котором пока виднелись только ряды стульев.

Оглянувшись, Саккар увидел за соседним столиком Мазо, биржевого маклера. Он протянул ему руку.

– А! Это вы. Здравствуйте!

– Здравствуйте! – отвечал Мазо, рассеянно отвечая на его пожатие.

Маленький, живой, красивый брюнет – он унаследовал свою должность от какого-то из своих дядей, в тридцать два года. По-видимому, он был совершенно поглощен своим собеседником, массивным, краснолицым, гладко выбритым господином, знаменитым Амадье, которого биржа боготворила со времени его пресловутой аферы с сельзискими рудниками. Бумаги упали до пятнадцати франков, на всякого покупателя смотрели, как на сумасшедшего – Амадье бросил в это дело все свое состояние, двести тысяч франков, так, зря, на авось, без всякого расчета. Открылись новые и богатые жилы; акции поднялись выше тысячи франков; Амадье загреб миллионов пятнадцать, и эта глупая операция, за которую его следовало бы посадить в сумасшедший дом, доставила ему славу великого финансиста. Его поздравляли, с ним советовались. С тех пор он, впрочем, воздерживался от дел, царствуя в ореоле своей единственной, легендарной аферы. Вероятно, Мазо добивался его клиентуры.

Не получив от Амадье даже улыбки, Саккар раскланялся с тремя спекулянтами, сидевшими: за столиком напротив него – Пидьро, Мозером и Сальмоном.

– Здравствуйте, как дела?

– Ничего, помаленьку... Здравствуйте.

И с этой стороны он встречал холодное, почти враждебное отношение. А между тем Пильро, высокий, худощавый малый, с порывистыми жестами, с ястребиным носом на костлявом лице странствующего рыцаря – отличался фамильярностью игрока, который возводит в принцип азартную игру, говоря, что погибнет, если станет обдумывать свои операции. Он обладал счастливой натурой спекулянта, которому всегда везет, тогда как Мозер, господин небольшого роста, с желтым лицом, очевидно, страдавший печенью, вечно ныл и жаловался, опасаясь кризиса. Что касается Сальмона, очень эффектного господина, несмотря на свои пятьдесят лет, с великолепной черной, как смоль, бородой, то он слыл за удивительно ловкого малого. Он никогда не разговаривал, отделяваясь только улыбками; никто не знал, где

он играет и играет ли вообще; и, тем не менее, его манера слушать производила такое впечатление на Мозера, что часто, рассказав Сальмону о какой-нибудь предполагаемой афере, он отказывался от нее, сбитый с толку молчанием своего собеседника.

Встречая со всех сторон равнодушие, Саккар обводил зал лихорадочным, вызывающим взглядом. Он раскланялся еще только с одним высоким молодым человеком восточного типа, красавцем Сабатани, с продолговатым смуглым лицом и великолепными черными глазами, но дурным, неприятным ртом. Любезность этого господина окончательно взорвала его: это был агент какой-то иностранной биржи, таинственная личность, любимец женщин, явившийся неведомо откуда с прошлой осени и уже разыгравший сомнительную роль при крушении одного банка, но успевший снова приобрести доверие своими безукоризненными манерами и неизменной любезностью со всеми.

Гарсон обратился к Саккару с вопросом:

– Что прикажете, сударь?

– Ах, да... что хотите... котлетку, спаржи!..

Потом он снова спросил:

– Вы наверно знаете, что г. Гюрэ еще не был и не ушел раньше меня?

– О, да, сударь, наверное!..

Итак, вот в каком положении ему пришлось очутиться после октябрьского краха, когда он должен был ликвидировать дела, продать дом в парке Монсо и переселиться в наемную квартиру; только господа вроде Сабатани раскланивались с ним; его появление в ресторане, где он был когда-то царьком, не произвело никакого впечатления: головы не оборачивались, руки не протягивались к нему, как прежде. Как истый игрок, он без всякой злобы вспоминал последнюю аферу, скандальную, убийственную, в которой он еле спас свою шкуру. Но все его существо жаждало реванша, и отсутствие Гюрэ, которому он дал поручение к своему брату Ругону, министру, бывшему тогда в силе, и которому назначил свидание здесь, в ресторане, в одиннадцать часов, – возмущало его. Гюрэ, послушный депутат, креатура великого человека, был только комиссионером. Но Ругон, всемогущий Ругон, неужели он оставил его на произвол судьбы? Никогда-то он не был добрым братом. Положим, катастрофа рассердила его, понятно также, что он прекратил сношения с Саккаром, не желая себя компрометировать; но разве не мог он в течение этих шести месяцев помочь ему тайно? Неужели у него хватит жестокости и теперь отказать в помощи, которой Саккар даже не решался просить лично, не смея явиться к брату, опасаясь его гнева. Стоит ему пошевелить пальцем – и Саккар снова на высоте, а Париж, подлый, огромный Париж – у его ног.

– Какого вина прикажете, сударь? – спросил гарсон.

– Вашего обыкновенного бордо.

Он так задумался, что не чувствовал голода и не замечал, что котлета совершенно остыла, когда тень, мелькнувшая по скатерти, заставила его поднять голову. Это был Массиас, высокий парень с красным лицом, биржевой заяц, пробиравшийся между столами, с курсовой запиской в руке. Саккар с горечью заметил, что он прошел мимо, не обращая на него внимания, и протянул записку Пильро и Жозеру. Занятые разговором, они едва взглянули на нее! Не нужно, в другой раз!.. Массиас, не смея беспокоить знаменитого Амадье, который, нагнувшись над омаром, беседовал о чем-то вполголоса с Мазо, обратился к Сальмону; последний взял записку, внимательно прочел ее и возвратил, не сказав ни слова. Зал оживлялся. С каждой минутой появлялись новые лица. Слышались громкие восклицания, деловая горячка усиливалась. На площади Саккар тоже заметил оживление, экипажи и пешеходы прибывали, на ступенях биржи, отсвечивавших под солнцем, уже мелькали черные фигуры людей.

– Повторяю, – говорил Мозер своим унылым голосом, – эти дополнительные выборы 20 марта – самый зловещий симптом... Наконец, теперь весь Париж в оппозиции.

Но Пильро пожал плечами.

– Ну, левая усилится какими-нибудь Карно и Гарнье-Пажесом – велика важность!

– Вот тоже вопрос о герцогствах, – продолжал Мозер, – крайне запутанный вопрос. Смейтесь, смейтесь. Я не говорю, что мы должны были объявить войну Пруссии, чтобы помешать ей забрать в свои лапы Данию; но разве нельзя было воздействовать на нее иными путями... Да, да, когда большие начинают поедать маленьких, Бог весть, чем это кончится... Наконец, Мексика...

Пильро, который был сегодня в самом благодушном настроении, перебил его, расхохотавшись:

– Э, полноте, милый мой, бросьте вы ваши страхи насчет Мексики... Мексика будет славной страницей нынешнего царствования... С чего вы взяли, что империя больна? Разве январский заем в триста миллионов не покрывался более чем в пятнадцать раз? Успех чудовищный... Посмотрим, что вы скажете через три года, в 67, когда откроется всемирная выставка...

– Я вам говорю, что все идет скверно, – с отчаянием упорствовал Мозер.

– Пустяки, все идет отлично.

Сальмон посматривал на них со своей загадочной улыбкой. А Саккар, слушавший их разговор, проводил параллель между своими собственными затруднениями и кризисом, по-видимому, угрожавшим Империи. Вот он снова повержен, неужели и она также рухнет с недостижимой высоты во тьму ничтожества? Ах, в течение двенадцати лет он любил и защищал этот режим, в котором жил, пускал корни, наливался соком, как дерево в жирной почве! Но если брат откажется от него, если его вытолкнут из рядов тех, кто истощает эту жирную почву – пусть тогда все лопнет и рассыплется в прах.

Воспоминания унесли его далеко от этого зала, в котором оживление все более и более росло. Он увидел свое отражение в огромном зеркале напротив и удивился. Казалось, годы прошли бесследно для его маленькой фигурки; теперь, в пятьдесят лет, ему нельзя было дать более тридцати восьми; он сохранил свежесть и живость молодости. Его лицо, смуглое, костлявое лицо марионетки, с острым носом, с маленькими блестящими глазами, казалось, выиграло с годами, приобрело прелесть неувядающей юности, гибкой, деятельной, с густыми без единой седины волосами. Ему вспомнилось, как он приехал в Париж на другой день после переворота, как бродил по улицам в зимний вечер с пустыми карманами, голодный, с бешеными аппетитами, которые требовали удовлетворения. Ах, эта первая прогулка по улицам! Он даже не распаковал чемодана, он не мог утерпеть, и в своих дырявых сапогах, в засаленном пальто ринулся в этот город, который ему предстояло завоевать! С того вечера он много раз поднимался на высоту, миллионы прошли через его руки, и все-таки он никогда не мог поработить фортуны, она не превращалась в его вещь, в нечто осязаемое, реальное, что можно бы было запереть под замок: ложь, фикция обитали в его кассе, откуда золото, казалось, исчезало сквозь какие-то невидимые дыры. И вот он снова на мостовой, также как в ту отдаленную эпоху, и по-прежнему молодой, голодный, ненасытный, с прежней жаждой богатства и побед. Он попробовал всего и ничем не насытился, не имел ни случая, ни времени, как ему казалось, запустить зубы покрепче в обстоятельства и людей. Теперь он еще сильнее чувствовал горечь своего жалкого положения, чем в то время, когда был дебютантом, которого поддерживали иллюзия и надежда. И в нем загорелось желание начать все сызнова, завоевать все сызнова, подняться на такую высоту, до которой еще никогда не поднимался, и придавить, наконец, пятой завоеванный город. Не лживое показное богатство, но прочное здание, настоящее царство денег, престол из мешков с золотом!

Резкий, пронзительный голос Мозера снова вывел его из задумчивости.

– Мексиканская экспедиция стоит четырнадцать миллионов в месяц; Тьер доказал это... И, право, нужно быть слепым, чтобы не видеть, что большинство в палате поколеба-

лось. Теперь на левой больше тридцати человек. Сам император понимает, что абсолютная власть становится невозможной; недаром же он толкует о свободе.

Пильро не отвечал и только презрительно усмехался.

— Да, я знаю, что рынок вам кажется твердым, дела идут. Но дождитесь конца... В Париже чересчур много разрушали и перестраивали. Казначейство истощено. А крупные фирмы... вы думаете, что они в цветущем состоянии... Пусть лопнет одна, увидите, как полетят за ней все остальные... К тому же и народ волнуется. Эта международная ассоциация рабочих просто пугает меня, да! Во Франции протест, революционное движение усиливается с каждым днем... Я вам говорю, что червяк забрался в плод. Все пойдет к черту!

Эта тирада вызвала шумный протест. Решительно, у этого проклятого Мозера желчный припадок. Но сам он не спускал глаз с соседнего стола, за которым Амадье и Мазо по-прежнему разговаривали вполголоса. Мало-помалу весь зал обратил на них внимание и заволновался. О чем они шепчутся? Наверно Амадье затеял новую аферу. В последние три дня получались дурные вести о работах на Суэцком перешейке. Мозер подмигнул Сальмону и понизил голос.

— Знаете, англичане хотят помешать работать! Можно ожидать войны.

На этот раз даже Пильро встревожился: известие было, слишком важно. Оно казалось невероятным и, тем не менее, тотчас стало переходить из уст в уста, приобретая силу достоверности. Англия прислала ультиматум, требуя немедленного прекращения работ. Амадье, очевидно, именно об этом и разговаривал с Мазо, поручая ему продать все свои суэцкие акции. Ропот панического страха поднялся в атмосфере, насыщенной испарениями кушаний, среди звона посуды. Волнение еще более увеличилось, когда вошел Флори, подручный Мазо, маленький блондин с нежным лицом и густой темно-русой бородой. Он поспешно пробрался к своему патрону, шепнул ему что-то на ухо и подал пучок ордеров.

— Хорошо! — лаконически ответил Мазо, уложив их в бумажник.

Потом, взглянув на часы, прибавил:

— Уже двенадцать! Скажите Бертье, чтобы он подождал меня, и сами будьте там.

Когда Флори ушел, он снова обратился к Амадье и, достав из кармана другой пучок ордеров, положил их на скатерти возле своего прибора. Каждую минуту какой-нибудь клиент, проходя мимо, наклонялся к нему с несколькими словами, которые он записывал наскоро на кусочке бумаги. Ложное известие, явившееся неведомо откуда, из ничего, росло, как грозная туча.

— Вы продаете, не правда ли? — спросил Мозер у Сальмона.

Но последний улыбнулся так загадочно, что Мозер призадумался, не зная, верить ли в этот, английский ультиматум, и не догадываясь, что сам его выдумал.

— Я покупаю сколько продадут, — объявил Пильро с решимостью азартного игрока.

Опьяненный этой лихорадочной атмосферой, Саккар принялся, наконец, за спаржу, чувствуя новый прилив раздражения против Гюрэ, которого перестал ожидать. В последнее время он, когда-то такой решительный, медлил и колебался. Он чувствовал настоятельную необходимость начать новый образ жизни и сначала мечтал о совершенно новой деятельности, об административной или политической карьере. Почему бы законодательному корпусу не провести его в совет министров, как его брата?

В спекуляциях ему не нравилась их непрочность; огромные суммы наживаются так же быстро, как и спускаются; никогда ему не случалось владеть реальным миллионом, не будучи никому должным. И теперь, добросовестно разбирая свою деятельность, он признавал, что, пожалуй, был слишком страстен для денежной войны, требовавшей такого хладнокровия. Этим объяснилось, почему после такой странной жизни, в которой роскошь смешивалась с нуждой, он вышел разоренным и побежденным из чудовищных десятилетних спекуляций с землями нового Парижа, на которых другие, более тяжелые на подъем, нажили

колоссальные состояния. Да, может быть, он обманулся насчет своих истинных способностей; может быть, он со своей энергией, со своей пламенной верой сразу восторжествовал бы в политической суете. Все зависит от ответа Ругона. Если он отвергнет его, толкнет в бездну ажиотажа – ну, что ж, тем хуже для него и для других. Тогда он решится на грандиозную, чудовищную аферу, о которой мечтал уже несколько недель и которая пугала его самого, до такой степени она была велика и обширна, до такой степени ее успех или неудача потрясут весь мир.

Пильро возвысил голос.

– А что, Мазо, покончено с ликвидацией Шлоссера?

– Да, – отвечал маклер, – сегодня появится объявление... Что поделаешь, это, конечно, всегда неприятно, но я получил самые беспокойные известия. Время от времени нужно очищать биржу.

– Мне говорили, – сказал Мозер, – что ваши коллеги, Якоби и Деларок, вложили в это дело кругленькие суммы.

Маклер отвечал неопределенным жестом.

– Ба, это пропащее дело... За этим Шлоссером, наверно, стоит целая шайка, он рассчитывается с ней и отправится ловить рыбу в мутной воде на берлинской или венской бирже.

Саккар взглянул на Сабатани, который, как он узнал случайно, был тайным соучастником Шлоссера; оба вели известную игру: один на повышение, другой на понижение одних и тех же бумаг; проигравший отделялся от них, делил барыши с первым и исчезал. Но молодой человек совершенно спокойно рассчитывался за завтрак. Потом со своей полу-восточной, полу-итальянской грацией подошел к Мазо, раскланялся с ним и что-то шепнул ему на ухо. Маклер записал поручение.

– Он продает суэцкие акции, – пробормотал Мозер.

Тут он не выдержал и воскликнул:

– Эй, что вы думаете о Суэзе?

Зал мгновенно умолк, все головы обернулись на этот вопрос, резюмировавший общее беспокойство. Но спина Амадье, который просто разговаривал с Мазо об одном из своих родственников, оставалась непроницаемой, а маклер, удивленный то и дело получаемыми распоряжениями о продаже акций, только пожал плечами по профессиональной привычке к скромности.

– Суэз... да там все в порядке! – объявил своим певучим голосом Сабатани. Мимоходом он подошел к Саккару и галантно пожал ему руку. Саккар на минуту сохранил ощущение этой мягкой, гибкой, почти женской руки. В своих колебаниях, не зная, какой путь выбрать, какую жизнь начать, он смотрел на всех их, собравшихся здесь, как на шайку мошенников. А, если его принудят к этому, – как он проведет, как он острижет этих трусливых Мозеров, хвастунов Пильро, пустоголовых Сальмонов, этих Амадье, которым глупые аферы создали репутацию гениев! Звон тарелок и стаканов снова усилился, голоса загудели, двери то и дело хлопали, – все спешили туда, на биржу, присутствовать при суэцком крахе, если уж ему суждено свершиться.

Глядя в окно, через площадь, по которой то и дело мелькали экипажи, сновали пешеходы, Саккар видел ступени биржи, черневшие от массы человеческих фигур, безукоризненно одетых в черное, которые мало-помалу осыпали колоннаду, тогда как за решеткой, под каштанами, появились неясные силуэты женщин.

Он принялся было за сыр, как вдруг услышал грубый голос:

– Простите, мой друг, я не мог быть раньше.

Это был Гюрэ, нормандец из Кальвадоса, плотная, широкая мужицкая фигура, хитрый крестьянин, разыгрывающий простодушного малого. Он тотчас велел подать себе что-нибудь, что найдется...

– Ну? – сухо спросил Саккар, сдерживавший свое нетерпение.

Но Гюрз, как человек хитрый и осторожный, не торопился отвечать. Он принялся сначала за еду, потом, пододвинувшись к Саккару и понизив голос, сказал:

– Ну, я видел великого человека... Да, сегодня утром, у него... О, он относится к вам с большим участием, с большим участием...

Он остановился, выпил стакан вина и положил в рот картофелину.

– Что ж дальше?

– Дальше вот что... Он готов сделать для вас, что может, он найдет вам отличное место, только не во Франции... Например, губернатором какой-нибудь колонии, хорошей... Вы там заживете, как царь.

Саккар посинел от бешенства.

– Да вы смеетесь надо мною?.. Почему не прямо ссылка?.. А, так он хочет отделаться от меня! Пусть поостережется, чтобы я, в самом деле, не наделал хлопот.

Гюрз, с полным ртом, принялся успокаивать.

– Полноте, полноте, ведь о вас же хлопочут. Предоставьте нам...

– Раздавить меня, да?.. Слушайте, сейчас здесь говорили, что империя скоро переполнит меру своих ошибок. Да, итальянская война, Мексика, отношения к Пруссии. Честное слово, это истина!.. Вы наделаете столько глупостей, что Франция поднимется, как один человек, и выбросит вас за борт.

Депутат, преданная креатура министра, моментально струсил, побледнел, тревожно оглядываясь.

– Позвольте, позвольте, я не успеваю следить за вами... Ругон честный человек; пока он управляет делами, нет никакой опасности... Нет, не говорите, вы его не знаете...

Саккар перебил его сквозь зубы, подавляя бешенство.

– Ладно, ладно, возитесь с ним, стряпайте вместе... Решительный ответ: будет он поддерживать меня здесь, в Париже?

– В Париже? Никогда!

Саккар молча встал, позвал гарсона, расплатился, тогда как Гюрэ, знавший его характер, спокойно жевал хлеб, не удерживая своего собеседника, так как опасался скандала. Но в эту минуту волнение в зале удвоилось.

Вошел Гундерманн, царь банкиров, властитель биржи и мира, человек лет шестидесяти, с огромной лысой головой, толстым носом, круглыми глазами навывкате, с печатью упрямства и крайнего утомления на лице. Он никогда не бывал на бирже, даже не имел на ней официального представителя, никогда не завтракал в публичном месте; лишь изредка появлялся в ресторане Шампо, как сегодня, например, но спрашивал только стакан воды Виши. Страдая расстройством желудка, он уже лет двадцать питался исключительно молоком.

Гарсон, сломя голову, бросился за водой, посетители замерли. Мозер во все глаза глядел на человека, который знал все тайны, создавал повышение и понижение, как Бог посылает ненастье и вёдро. Даже Пильро преклонялся перед ним, уступая непреодолимой силе миллиарда. Мазо, оставив Амадье, поспешил к банкиру и поклонился ему чуть не в пояс. Многие из посетителей, собравшиеся было уходить, остались, окружили биржевого бога, стоя, почтительно сгибая спины, преклоняясь перед кумиром среди груды засаленных скатертей. Все с благоговением смотрели, как он взял стакан дрожащей рукой и поднес его к своим бесцветным губам.

Когда-то, в эпоху спекуляций с землями равнины Монсо, Саккару случалось спорить, даже почти ссориться с Гундерманном. Они не могли столковаться: один – страстный игрок, другой – трезвый холодный логик. Теперь, когда первый, в припадке гнева, еще усилившегося при виде этого торжественного входа, собирался оставить зал, второй окликнул его:

– Правда ли, друг мой, что вы бросаете дела?.. Прекрасно делаете, давно пора.

Для Саккара это было ударом хлыста по физиономии. Он выпрямил свой маленький стан и произнес резким, звонким голосом:

– Я основываю кредитный дом с капиталом в двадцать пять миллионов и надеюсь скоро побывать у вас!

Он вышел из ресторана, оставляя этот шумный зал, где все теснились и толкались, ожидая, когда откроется биржа. О, если бы восторжествовать, наконец, раздавить каблуком этих людей, оборачивавшихся к нему спиной, помериться с этим королем биржи и, может быть, одолеть его! Он еще не решил, предпринимать ли свою великую аферу, и сам был удивлен своей фразой, вызванной необходимостью отвечать. Но ему не остается другого исхода, если брат отказывается от него, если люди и обстоятельства толкают его на битву, как израненного быка на арену.

С минуту он стоял на краю тротуара. Теперь был самый оживленный час дня, когда парижская жизнь сосредоточивается в этом центральном пункте между улицами Монмартр и Ришелье, двумя артериями, вечно выбрасывающими толпы людей. С четырех сторон площади безостановочно валили экипажи среди суетливой толпы пешеходов. На улице Вивьен экипажи биржевых агентов вытянулись непрерывным рядом, кучера сидели на козлах, держа наготове вожжи, готовые пуститься вскачь каждую минуту. Ступени и галерея биржи походили на муравейник; торговля акциями была уже в полном разгаре, крики продажи и купли, грохот биржевого приboя господствовали над жужжанием города. Прохожие оборачивались с любопытством и страхом, желая знать, что такое происходит там, где совершается тайна финансовых операций, недоступная для большинства французских мозгов, где наживаются и разоряются так внезапно, среди варварских криков и дикой жестикуляции. И он, оглушенный гулом отдаленных голосов, стиснутый в толпе спешивших людей, продолжал мечтать о золотом царстве в этом лихорадочном квартале, где биржа бьется, как огромное сердце, от часа до трех.

Но после своей неудачи он не решался явиться на биржу; оскорбленное самолюбие, уверенность, что его встретят, как побежденного, не позволяли ему подняться по этим ступеням. Как любовник, выгнанный из дома своей возлюбленной, к которой его страсть разгорается тем сильнее, чем более он, как ему кажется, ненавидит ее, он фатально возвращался сюда, бродил вокруг колоннады, заходил в сад, делая вид, что прогуливается в тени каштанов. В этом пыльном сквере, без цветов, без газона, где, среди писсуаров и киосков с газетами, толпились спекулянты и женщины, кормившие детей на скамейках, он напускал на себя вид безучастного фланера, прохаживался, следя за толпой, бросая по сторонам равнодушные взгляды и думая, что он осаждает это здание, окружает его тесным кругом, чтобы впоследствии войти в него победителем...

Он повернул за угол направо под деревья, выходящие на Банковую улицу, и очутился на бирже потерявших цену бумаг, бирже «промоченных ног», как презрительно называют этих игроков сомнительного свойства, торгующих под открытым небом, часто под проливным дождем, акциями лопнувших компаний. Там собралась шумная толпа, целая свора жидов с грязными лоснящимися лицами, с хищными профилями, с типичными носами, устремленными в одну точку, точно над общей добычей, которую они делили, оглушая воздух своими гортанными криками, готовые разорвать друг друга. Он хотел было пройти мимо, когда заметил в сторонке массивного человека, который рассматривал на солнце рубин, осторожно поднимал и поворачивая его грязными толстыми пальцами.

– А, Буш!.. Я и забыл, что собирался зайти к вам.

Буш, имевший комиссионную контору на улице Фейдо, на углу улицы Вивьен, несколько раз оказывал ему важные услуги в затруднительных обстоятельствах. Он стоял как бы в экстазе, любуясь игрой драгоценного камня, закинув голову, с блаженным лицом; его белый галстук, который он всегда носил, закрутился в веревку; сюртук, купленный по

случаю, когда-то превосходный, но совершенно истертый и весь в пятнах, въехал на самый затылок и терялся в светлых волосах, падавших редкими, взъерошенными космами с его лысой головы. Шляпа его, порыжевшая от солнца, вылинявшая от дождей, уже не имела определенного возраста.

Наконец, он решился спуститься на землю.

– А! г. Саккар, вы тоже заглянули сюда.

– Да! У меня есть письмо на русском языке, от русского банкира, живущего в Константинополе. Я хотел зайти к вашему брату, попросить его перевести.

Буш, машинально продолжая вертеть рубин в правой руке, протянул левую, говоря, что перевод будет прислан сегодня же вечером. Но Саккар объяснил, что записка состояла всего из десяти строк. – Я зайду к вам, ваш брат переведет мне ее в пять минут...

Он был прерван появлением госпожи Мешэн, особы очень хорошо известной всем завсегдатаям биржи, одной из тех на все готовых женщин, играющих на бирже, чьи грязные руки пачкаются во всевозможных темных делах.

Ее круглое лицо, напоминавшее полную луну, одутловатое и красное, с маленькими голубыми глазками, маленьким носиком, крошечным ротиком, из которого исходил нежный детский голос, едва умещалось под старой шляпкой, подвязанной малиновыми тесемками, а огромная шея, вздутый живот, так плотно охватывались зеленым поплиновым платьем, затасканным в грязи, пожелтевшим, что, казалось, оно того и гляди лопнет по швам. В руках у нее был черный кожаный сак старинного фасона, огромный, глубокий, как сума, с которым она никогда не расставалась. Набитый битком, он оттягивал ее на правую сторону, как дерево под напором ветра.

– А, вот и вы, – сказал Буш, по-видимому, ожидавший ее.

– Да, я достала вандомские бумаги, они со мной.

– Отлично, идем ко мне. Сегодня здесь больше нечего делать.

Саккар мельком взглянул на кожаный сак. Он знал, что туда попадали потерявшие цену бумаги, акции лопнувших обществ, над которыми еще торгуются «промоченные ноги», покупая за двадцать, за десять су акции в пятьсот франков, в смутной надежде на внезапное повышение или с более практическими целями, чтобы сбыть их с барышом банкротам, желающим раздуть свой пассив.

В финансовых битвах Мешэн играла роль ворона, следующего за армиями; чуть только основывалась акционерная компания, банкирская контора, она уже была тут со своим сакom, приносившая, высматривая трупы; даже в счастливые минуты удачного выпуска акций она знала, что наступит день гибели, когда будут трупы; будут акции, которые можно подобрать за бесценок в лужах крови и грязи. И он, мечтавший о грандиозном банке, вздрогнул, томимый каким-то предчувствием при виде этого сака, этого кладбища обесцененных фондов, куда стекалась вся грязная бумага, выметаемая с биржи.

Буш собирался уходить вместе со старухой, но Саккар остановил его.

– Что ж, можно к вам зайти? Застану я вашего брата?

Глаза еврея приняли беспокойное, заискивающее выражение.

– Моего брата? Конечно! Где же ему еще быть.

– Отлично, так я пойду.

С этими словами Саккар оставил их и пошел потихоньку по аллее к улице Notre-Dame-des-Victoires. Это самая оживленная часть площади, занятая большими торговыми фирмами, золотые вывески которых сверкали на солнце. На балконе меблированного дома он заметил целую семью провинциалов, с разинутыми ртами. Он машинально поднял голову, взглянул на этих людей, глупое изумление которых заставило его улыбнуться и подумать с некоторой отрадой, что в провинции всегда найдутся акционеры. За его спиной гул биржи, грохот

отдаленного приюта раздавались по-прежнему и назойливо лезли ему в уши, как бы угрожая потоплением.

Новая встреча заставила его остановиться.

– Как, Жордан, вы тоже на биржу? – воскликнул он, пожимая руку высокого, смуглого молодого человека с маленькими усиками, с решительным и открытым видом.

Жордан, сын одного марсельского банкира, кончившего самоубийством вследствие неудачных спекуляций, уже десять лет гранил мостовую в Париже, занимаясь литературой, к которой питал непреодолимую страсть, в борьбе с нищетой. Какой-то из его родственников, живший в Плассане и знавший семью Саккара, рекомендовал его этому последнему, когда он принимал весь Париж в своем отеле, в парке Монсо.

– О, на биржу – никогда! – отвечал молодой человек с порывистым жестом, как бы отгоняя трагическое воспоминание об отце.

Потом он улыбнулся:

– Вы знаете, я женился. Да, на подруге детства. Нас обручили еще в те дни, когда я был богат, и она ни за что не хотела изменить мне даже теперь, когда я нищий.

– Да, я получил извещение, – сказал Саккар. – И вообразите, когда-то я имел дела с вашим тестем, г. Можандром. У него была фабрика в Виллетте. Он, должно быть, нажил порядочное состояние.

Эта беседа происходила подле скамейки, и Жордан перебил Саккара, чтобы представить ему толстого, коротенького человека с военной осанкой, сидевшего на скамье, с которым он разговаривал перед тем.

– Капитан Шав, дядя моей жены... Г-жа Можандр, моя теща, урожденная Шав.

Капитан встал и раскланялся с Саккаром. Последний уже знал в лицо эту апоплексическую фигуру, тип мелкого спекулянта, которого всегда можно было встретить здесь от часу до трех. Это игра по мелочам, с почти несомненным выигрышем в пятнадцать, двадцать франков, который нужно реализовать на той же бирже.

Жордан прибавил со своим добродушным смехом:

– Мой дядя отчаянный биржевик...

– Черт возьми, – сказал капитан, – поневоле будешь играть на бирже, когда правительство дает такую пенсию, с которой можно только умереть с голода.

Саккар, в котором молодой человек возбуждал участие своей смелостью в житейской борьбе, осведомился, как подвигается его литература. И Жордан также весело рассказал, что они поселились с женою в улице Клиши, в пятом этаже, потому что Можандры, не доверяя поэту и находя, что с их стороны было уже большим одолжением согласиться на брак, не дали ему ни гроша, под тем предлогом, что их дочь получит после их смерти нерастратченное состояние, которое еще увеличится сбережениями. Нет, литература плохо кормила своего служителя; он задумывал роман, но не имел времени написать его, потому что приходилось поневоле заниматься журналистикой и строчить обо всем, от хроник до судебных отчетов и смеси.

– Ну, – заметил Саккар, – если я возьмусь за свое предприятие, то вы, может быть, понадобится мне. Заходите как-нибудь.

Он пошел дальше и повернул за биржу. Тут, наконец, отдаленные крики перестали преследовать его и превратились в глухой гул, терявшийся в общем жужжании площади. Правда, и с этой стороны ступени были усыпаны народом, но кабинет маклеров, красные обои которого виднелись сквозь высокие окна, отделял от большой залы с ее суматохой колоннаду, где спекулянты, богачи расположились спокойно в тени, поодиночке или небольшими группами, образуя нечто вроде клуба в этой галерее, под открытым небом.

Этот фасад биржи, напоминавший заднюю сторону театра, с подъездами для артистов, выходил на относительно глухую и спокойную улицу Notre-Dames-des-Victoires, запол-

ненную погребями винных торговцев, кафе, пивными, трактирами, где кишела особенная, странная смесь посетителей. Вывески указывали на сорную растительность, пробивавшуюся на берегу огромной соседней клоаки: страховые общества с сомнительной репутацией, финансовые газеты разбойничьего направления, компании, банки, агентства, конторы – целая серия скромных с виду притонов, ютившихся в лавках или на антресолях. Но тротуарам, по мостовой, повсюду бродили люди, чего-то выжидая, что-то высматривая, точно грабители на опушке леса.

Саккар остановился за решеткой, глядя на дверь кабинета маклеров пристальным взглядом полководца, осматривающего крепость перед атакой, когда какой-то высокий детина, только что вышедший из трактира, подошел к нему и поклонился очень почтительно.

– Ах, г-н Саккар, не найдется ли у вас местечка для меня? Я окончательно вышел из кредитного общества.

Жантру был когда-то профессором и переселился из Бордо в Париж, вследствие какой-то темной истории. Принужденный оставить университет, утративший всякое положение в обществе, но красивый малый, с черной бородой и ранней лысиной, притом образованный, умный, любезный, он в двадцать восемь лет пристал к бирже, в течение десяти лет вертелся и пачкался в качестве биржевого зайца, едва добывая средства для удовлетворения своих порочных наклонностей. Теперь, совершенно облысевший, угнетаемый отчаянием, как состарившаяся проститутка, у которой морщины грозят отнять кусок хлеба, он все ожидал случая, который поведет его к успеху и богатству.

При виде его льстивых манер, Саккар с горечью вспомнил поклон Сабатани у Шампо: решительно, на его долю остались только разорившиеся и потерявшие репутацию. Но он питал некоторое уважение к живому уму Жантру и знал, что самые смелые войска набираются из отчаянных голов, готовых на все, потому что им нечего терять. Итак, он отнесся к нему очень добродушно.

– Местечка?.. Что ж! Может быть, и найдется. Заходите ко мне.

– В улицу Сен-Лазар?

– Да, Сен-Лазар. Как-нибудь утром.

Они разговорились. Жантру возмущался биржей, уверяя, что только мошенники могут иметь там успех, с озлоблением человека, которому не удастся ловко смошенничать. Пет, конечно, он бросает биржу; может быть, университетское образование и знание света помогут ему найти хорошее место в администрации. Саккар одобрял его планы, кивая головой. Разговаривая, они вышли за решетку, прошли по тротуару до улицы Броньяр, и тут оба обратили внимание на шикарную карету, остановившуюся на углу этой улицы. Кучер сидел неподвижный, как статуя, но из-за занавески в окне раза два выглянуло женское лицо и живо спряталось. Но вот оно снова выглянуло, и застыло в нетерпеливом ожидании, обратившись к бирже.

– А! Баронесса Сандорф! – пробормотал Саккар.

Это была смуглая головка, со странным выражением, с огненными глазами под синеватыми веками, – лицо, дышавшее страстью, с пунцовыми губами, терявшее только благодаря чересчур длинному носу. Она была очень красива со своей ранней зрелостью, с наружностью вакханки, одетой великими портными империи.

– Да, баронесса, – повторил Жантру. – Я видал ее еще девочкой у ее отца, графа Ладрикура. Вот был игрок! И груб до невозможности. Я приходил к нему за поручениями каждое утро, и однажды он чуть не побил меня. Признаюсь, я не особенно горевал, когда он умер от удара после целого ряда самых плачевных спекуляций. Тогда девочка должна была выйти замуж за барона Сандорфа, советника при австрийском посольстве, который был на тридцать пять лет старше ее, и которого она положительно свела с ума своими огненными глазами.

– Знаю, – заметил Саккар.

Голова баронессы снова исчезла, но тотчас появилась опять, с еще большим возбуждением, вытянув шею по направлению к бирже.

– Она играет на бирже?

– Как сумасшедшая!.. В дни кризисов она обязательно там, в своей карете, следит за курсами, отмечает что-то в записной книжке, дает поручения... Да вот, смотрите, она ждала Массиаса, вон он подходит к ней.

В самом деле, Массиас спешил во всю прыть на своих коротеньких ножках, с курсовой запиской в руке, и подбежав к карете, просунул голову в окно; очевидно, у них с баронессой шли какие-то важные переговоры. Когда он собирался уходить, Саккар и Жантру, отошедшие к сторонке, чтобы не быть замеченными в шпионстве, окликнули его. Он оглянулся и, убедившись, что спрятался за углом, остановился, задыхаясь, с багровым лицом, но веселый, как всегда, со своими голубыми глазами навывате.

– Что их разобрало! – воскликнул он. – Суэц падает. Говорят о войне с Англией. Все переполошились, а откуда эта новость – никто не знает... Скажите, пожалуйста! Война! Кто бы это мог подумать. Во всяком случае, это штука!

Жантру подмигнул, кивая в сторону кареты.

– А эта – играет?..

– О! Отчаянно. Я бегу от нее к Натансону.

Саккар, слушавший молча, заметил вслух.

– Да, ведь Натансон тоже начал торговать акциями.

– Милый человек этот Натансон, – подхватил Жантру. – Я желаю ему успеха. Мы жили вместе... Но он добьется своего, на то еврей!.. Его отец, австриец, переселился в Безансон, кажется, он был часовой мастер... Знаете, он как-то разом решился, увидав, как это просто устраивается. Стоит завести контору – вот он и завел контору... Ну, а вы довольны, Массиас?

– Что и говорить! Доволен... Вы справедливо заметили, что тут нужно быть евреем, иначе пиши пропало, ничего не поймешь, ничего не клеится... Проклятое ремесло! Да ничего не поделаешь! Впрочем, я еще не потерял надежды.

Он побежал дальше, веселый и смеющийся, как всегда. Говорили, что он был сын какого-то лионского чиновника, пострадавшего на службе, бросивший правоведение и пустившийся на биржу. Саккар и Жантру потихоньку вернулись к улице Браньяр, и снова увидели карету баронессы, но на этот раз окна были подняты; карета, невидимому, была пуста, хотя кучер казался еще неподвижнее.

– Чертовски заманчиво, – грубо заметил Саккар. – Я понимаю старого барона.

Жантру отвечал двусмысленной улыбкой.

– О, барону она уж давно надоела. Притом, говорят, он скряга... Знаете, с кем она сошлась, чтобы оплачивать свои счета, так как биржа дает слишком мало?

– Нет, не знаю.

– С Делькамбром.

– Делькамбром, генерал-прокурором! Такой желтый, сухой, деревянный господин!.. Будущий министр!.. Желал бы я видеть их вместе.

С этими словами они расстались, веселые, оживленные, крепко пожав друг другу руки, причем Жантру напомнил, что на днях будет иметь честь навестить Саккара.

Оставшись один, Саккар снова был оглушен шумом биржи, бушевавшим с упорством морского прибоя. Он завернул за угол, спустился к улице Вивьен по той стороне площади, которой отсутствие ресторанов придает пустынный вид. Он миновал почтовую контору, большие агентства объявлений, возбуждаясь все более и более, по мере того, как прибли-

жался к главному фасаду и, дойдя до того места, откуда можно было окинуть взглядом галерею, остановился, как бы не желая оканчивать этот обход, это исследование местности.

Тут было шумное место, где жизнь кипела и била ключом: толпа посетителей наполняла кафе; кондитерская ни на минуту не оставалась пустой; около витрин, в особенности у лавки ювелира, собирались толпы. С четырех сторон, из четырех улиц, пешеходы и экипажи, казалось, все прибывали и прибывали; суматоха еще увеличивалась, благодаря омнибусам, а экипажи биржевых зайцев вытянулись в виде баррикады вдоль тротуара, почти на всем протяжении решетки. Но он не сводил глаз со ступеней биржи, где мелькали на солнце черные сюртуки. Потом перевел их на галерею, битком набитую народом, – черный муравейник, на котором лица светились бледными пятнами. Все стояли, стульев не было видно, кулису можно было угадать только по усиленной суе, по бешеным жестам и крикам, потрясавшим воздух. Налево группа банкиров, занятых вексельными курсами, процентными бумагами и английскими чеками, держалась более спокойно, непрерывно пропуская людей, спешивших на телеграф. Всюду, даже на боковых галереях, кишмя кишели спекулянты, теснясь и толкаясь в непрерывном водовороте. Грохот и стон машины, действовавшей на всех парах, возрастал, охватывал всю биржу как бы пожаром. Внезапно Саккар заметил Массиаса, который опрометью сбежал с лестницы, вскочил в экипаж, крикнул что-то кучеру, и тот погнал лошадей вскачь.

Саккар почувствовал, что кулаки его сжимаются, и, сделав над собой усилие, отвернулся и пошел к улице Вивьен, вспомнив, что ему нужно зайти к Бушу. Но когда он собирался войти в подъезд, какой-то молодой человек, стоявший у бумажной лавки, помещавшейся в нижнем этаже, раскланялся с ним. Саккар узнал Гюстава Седиля, сына шелкового фабриканта в улице des Jeuneurs, которого отец поместил к Мазо для изучения механизма финансовых операций. Он отечески улыбнулся этому элегантному парню, догадываясь, зачем он торчит здесь подле лавки. Бумажная лавка Конена снабжала всю биржу памятными книжками с тех пор, как госпожа Конен взялась помогать мужу, толстяку Конену, вечно сидевшему в заднем отделении лавки и занимавшемуся своей фабрикацией, тогда как она-то появлялась, то исчезала, вела счета, часто выходила из дома. Полная, белокурая, розовая, настоящий барашек, со светлыми шелковистыми волосами, очень грациозная, очень миленькая, она постоянно была в веселом расположении духа. Как говорили, она любила своего мужа, что, впрочем, не мешало ей при случае быть нежной с биржевиками, которые ей нравились. Во всяком случае, счастливицы, которых она дарила своей любовью, должно быть, отличались скромностью и признательностью, потому что ее обожали, за ней ухаживали, несмотря на дурную славу. Бумажная лавка также процветала: это был истинно счастливый уголок. Мимоходом Саккар заметил госпожу Конен, которая улыбалась Гюставу через стекло. Какой миленький барашек! Он почувствовал прилив нежности. Наконец, он поднялся наверх.

В течение двадцати лет Буш занимал на самом верху, в пятом этаже, небольшую квартиру, состоявшую из двух комнат и кухни.

Уроженец Нанси, немец по происхождению, он приехал в Париж и мало-помалу расширил круг своих операций, необычайно сложных, не чувствуя потребности в более поместительном кабинете, предоставив брату Сигизмунду комнату с окнами на улицу, а сам, довольствуясь комнатой с окнами на двор, до такой степени заваленной бумагами, делами, пакетами всевозможных форм, что в ней едва хватало места для единственного стула перед письменным столом. Одним из главных занятий его была торговля обесцененными бумагами, он был ее центром, он служил посредником между биржей «промоченных ног» и банкротами, которым нужно заткнуть дыры в своем балансе. Затем, кроме ростовщичества и тайной торговли драгоценными вещами и камнями, он занимался в особенности скупкой векселей.

Эта последняя была главным источником бумаги, загромождавшей его комнату; она заставляла его рыскать по Парижу, выслеживая, высматривая, поддерживая сношения со всевозможными людьми. Как только он узнавал о банкротстве, он уже был на месте и покупал все, из чего нельзя было извлечь немедленной пользы. Он следил за делами нотариусов, за сомнительными наследствами, за присуждениями безнадежных долгов. Он сам печатал объявления, вступал в сделки с нетерпеливыми кредиторами, которые находили более выгодным получить несколько су, чем рисковать потерей всего, преследуя безнадежных должников. Из этих многочисленных источников стеклись груды бумаги: неоплаченные векселя и расписки, неисполненные условия, не сдержанные обязательства. Все это сваливалось в кучу, потом начиналась разборка, требовавшая особенного и очень тонкого чутья. В этом море исчезнувших или неоплаченных должников нужно было сделать выбор, чтобы не слишком разбрасываться. В принципе он утверждал, что самый безнадежный долг может сделаться хорошей аферой, и все они были распределены у него в удивительном порядке, в целой серии папок, которым соответствовал список имен. Время от времени он перечитывал этот список, чтобы лучше удержать его в памяти. Настойчивее всего он преследовал, разумеется, тех должников, которые имели шансы получить состояние; он разузнавал всю подноготную людей, проникал в семейные тайны, принимал к сведению богатых родственников, средства к существованию, в особенности новые должности. Иногда он дожидался целые годы, предоставляя человеку опериться, но готовый задушить его при первом успехе. Исчезнувшие должники еще сильнее разжигали его, побуждая к вечной горячке преследований; он просматривал объявления и имена в газетах, выслеживал адреса, как собака выслеживает дичь. И когда, наконец, они попадались в его лапы, он становился жесток, разорял их до нитки, высасывал всю кровь, получая сто франков там, где истратил десять су, объясняя с грубою откровенностью, что ему приходится выжимать из захваченных то, что он будто бы терял на других, ускользавших у него промеж пальцев, как дым.

В этой охоте на должников он пользовался чаще всего услугами Мешэн. Правда, у него была еще целая свора загонщиков; но он не доверял этим людям с дурной репутацией и волчьим голодом, тогда как Мешэн имела собственность, целый город за Жанмартром – Неаполитанское предместье – обширную площадь, застроенную лачугами, которые она отдавала в наймы помесечно: гнездо ужасающей нищеты, грязное жилище голодной смерти, свиные хлева, которые люди оспаривали друг у друга, из которых выбрасывали жильцов вместе с их навозом, если они переставали платить. Но несчастная страсть к биржевой игре разоряла ее, съедала все доходы с этого города. Она тоже любила финансовые раны, разорения, пожары, в которых можно воровать оброненные драгоценности. Когда Буш поручал ей навести какие-нибудь справки, затравить должника, она нередко сама тратилась, входила в издержки, из любви к искусству. Она называла себя вдовой, но никто не знал ее мужа. Она явилась неизвестно откуда и, казалось, всегда была такою же, как теперь, – тучной пятидесятилетней бабой с тоненьким девическим голоском.

Когда она уселась на единственном стуле Буша, кабинет совершенно наполнился, точно его заткнули пробкой, этим узлом мяса. Буш, съевшийся подле письменного стола, казался погребенным в своих бумагах, только его квадратная голова торчала над папками.

– Вот, – сказала Мешэн, вытаскивая из своего сака грудку бумаг, – вот что Фэйе прислал мне из Вандома... Он скупил все в этом банкротстве Шарпье, о котором вы просили меня написать ему... Сто десять франков.

– Провинция, – пробормотал Буш, – не важное дело, но случаются и там находки.

Он обнюхивал бумаги, классифицировал их опытной рукой, с одного взгляда, чутьем. Его плоское лицо омрачилось, он скорчил недовольную гримасу.

– Гм... не жирно, укусить нечего. Хорошо, что недорого... Вот деньги... еще... Если это молодые люди и если они, в Париже, мы, может быть, поймем их...

– Это что такое? – воскликнул он вдруг с удивлением. Он держал в руке листок гербовой бумаги с подписью графа Бовилье и тремя строчками, набросанными крупным старческим почерком: «Обязуюсь уплатить десять тысяч франков девице Леони Крон в день ее совершеннолетия».

– Граф Бовилье, – повторил он медленно, размышляя вслух, – да, да, у него были фермы, целое имение близ Вандома... Он умер вследствие несчастного случая на охоте и оставил жену и двоих детей в стесненных обстоятельствах. У меня были их векселя, они уплатили с большим трудом... Пустой человек, хвастунишка...

Вдруг он расхохотался, сообразив, в чем дело.

– Ах, старый плут, он поддел эту девчонку!.. Она не соглашалась, он убедил ее этим клочком бумаги, который не имеет легальной цены... Потом он умер... Посмотрим... подписано в 1854 г.; ну, конечно, она уж достигла совершеннолетия. Но как могла попасть эта записка к Шарпье? Он был хлебный торговец и ростовщик. Наверно она заложила ему эту расписку за несколько экю, а, может быть, он взялся выхлопотать деньги...

– Но, – перебила Мешэн, – ведь это отлично; тут верный барыш.

Буш презрительно пожал плечами.

– Нет, я вам говорю, что юридически, это не имеет никакого значения... Если я представлю эту расписку наследникам, они могут вытолкать меня в шею: ведь я не могу доказать, что деньги не уплачены... Вот, если бы найти девушку, тогда, пожалуй, можно будет прижать их, пригрозить скандалом... Понимаете, разыщите эту Леони Крон, напишите Фэйе, чтобы он откопал ее. А там видно будет.

Он разложил бумаги на две кучи, намереваясь просмотреть их, когда останется один, и стоял неподвижно, прикрывая их руками.

После некоторого молчания Мешэн сказала:

– По поводу векселей Жордана... Кажется, я нашла его. Он служил где-то, а теперь пишет в газетах. Но в редакциях прескверно встречают, никогда не дают адреса. И потом вряд ли он подписывает свои статьи настоящим именем.

Буш молча протянул руку и достал дело Жордана. Тут было шесть векселей на 50 франков, выданных Жорданом портному в минуту крайней нужды, 5 лет тому назад. Неуплаченный вовремя долг все более и более нарастал и в настоящее время достигал семисот франков пятнадцати сантимов.

– Если это способный парень, мы его пощиплем, – пробормотал Буше.

Потом, по какой-то ассоциации идей, воскликнул:

– Что ж, дело Сикардо? Придется его бросить?

Мешэн скорбно подняла к нему свои толстые руки. Вся ее уродливая фигура выразила неподдельное отчаяние.

– Ах, Господи Боже мой, – простонала она своим жалобным голосом, – он просто убьет меня!

Дело Сикардо – была романическая история, которую она очень любила рассказывать. Ее кузина, Розали Шавайль, шестнадцатилетняя девушка, была изнасилована однажды вечером на лестнице в доме на улице Лагарп, где проживала вместе с матерью в маленькой квартирке в шестом этаже. Хуже всего было то, что виновник, женатый господин, поселившийся вместе со своей супругой всего за неделю перед тем в меблированной комнате второго этажа, проявил такой пыл, что бедняжка Розали вывихнула руку о ступеньку лестницы. Отсюда справедливый гнев матери, которая совсем было решилась поднять ужаснейший скандал, несмотря на слезы дочери, сознавшейся, что она сама того хотела и что ей будет жаль господина, если его потянут в тюрьму. Наконец, мать уgomонилась и удовольствовалась вознаграждением в шестьсот франков, вместо которых были выданы двенадцать векселей, по пятидесяти франков каждый, сроком на год. Тут не было ничего дурного, напротив, мать

поступила по всей справедливости, потому что девочка, обучавшаяся белошвейному мастерству, лежала больная в постели, ничего не зарабатывала и стоила чертовских денег. В довершение всего лечили ее так плохо, что она осталась калекой. До истечения первого месяца господин исчез, не оставив адреса. Затем несчастья посыпались градом: Розали родила мальчика, потеряла мать, ударилась в распутство, дошла до самой черной нищеты. Приютившись в Cîte de Naples, у двоюродной сестры, она таскалась по улицам до двадцати шести лет, не владея рукой, иногда продавала лимоны на рынке, по целым неделям пропадала с мужчинами и возвращалась пьяная, в синяках. Наконец, год тому назад, она издохла после какого-то экстренного приключения. Ребенок, Виктор, остался на руках Мешэн. И никаких документов не сохранилось от этого дела, кроме двенадцати неоплаченных векселей за подписью Сикардо. Вот, все, что знали об этом господине: его фамилия была Сикардо.

Буш снова протянул руку и достал дело Сикардо, тоненький пакет из серой бумаги. Никаких издержек не было сделано, все дело состояло из двенадцати векселей.

– Добро бы Виктор был хороший мальчик! – жаловалась старуха. – А то, представьте себе, ужасный ребенок... Да, вот вам наследство: мальчишка, который кончит на эшафоте, и эти бумажонки, с которыми мне нечего делать.

Буш упорно рассматривал билеты своими большими тусклыми глазами. Сколько раз он изучал их таким образом, надеясь найти какое-нибудь указание в форме букв, даже в свойствах самой бумаги! Он утверждал, что этот тонкий, острый почерк не совсем незнаком ему.

– Удивительно, – повторил он снова, – решительно, я видел где-то эти длинные а и о, похожие на и.

В эту минуту кто-то постучался, и он попросил Мешэн протянуть руку и впустить посетителя, так как комната выходила прямо на лестницу. Чтобы попасть в другую комнату, нужно было пройти через первую.

– Войдите.

Вошел Саккар. Он улыбался, прочитав на медной дощечке, прикрепленной к двери, надпись большими черными буквами: «Спорные дела».

– А, г. Саккар, вы за переводом? Мой брат там, в другой комнате... Пожалуйста, пожалуйста...

Но Мешэн заслоняла собою проход, глядя на Саккара во все глаза с выражением крайнего изумления. Пришлось прибегнуть к довольно сложному маневру: он отступил на лестницу, она вышла на площадку, затем он прошел в соседнюю комнату. Все время она не спускала с него глаз.

– О, – прошептала она, наконец, – так вот он, г. Саккар... Я в первый раз вижу его так близко... Виктор, как две капли воды, похож на него.

Буш смотрел на нее с недоумением. Потом, внезапно сообразив что-то, процедил сквозь зубы ругательство:

– Тысяча чертей! Так оно и есть, я знал, что уже видел где-то этот почерк.

Он вскочил, стал рыться в бумагах, перерыл все дела и, наконец, отыскал письмо Саккара от прошлого года, в котором тот просил его подождать долг на какой-то даме. Он сличил почерк: несомненно, те же самые а и о, только сделавшиеся еще острее. Сходство в заглавных буквах было также очевидно.

– Он самый, он самый, – повторял Буш. – Но почему Сикардо, почему не Саккар?

В то же время в его памяти воскресала смутная история, рассказ о прошлом Саккара, который он слышал от некоего Ларсонно, бывшего приказчика, ныне миллионера. По его словам, Саккар явился в Париж после переворота, с целью воспользоваться возникающим могуществом своего брата Ругона; жил сначала в нищете, в грязных домах старого Латинского квартала, потом быстро разбогател, благодаря какому-то двусмысленному браку, после

того как ему посчастливилось похоронить первую жену. Тогда-то, во времена нужды, он переименовал Ругона на Саккара, переделав просто фамилию своей первой жены, которая называлась Сикардо.

– Да, да, Сикардо, я ясно помню, – бормотал Буш. – У него хватило нахальства подписать векселя именем жены. Без сомнения, они поселились под этой фамилией в улице Лагарп. А потом он принимал меры предосторожности, переселялся при малейшей тревоге... Отлично, мы сыграем с ним штуку!

– Тише, тише! – остановила его Мешэн. – Он в наших руках. Бог справедлив. Наконец-то я получу награду за все, что сделала для бедняжки Виктора, которого все же люблю, хотя он невыносимый ребенок.

Она сияла, ее маленькие глазки блестели на заплывшем жиром лице.

Но Буш, после первых восторгов по поводу этой неожиданной, так долгожданной разгадки, успокоился и покачивал головой. Конечно, Саккар, хотя и разоренный в настоящее время, все еще представлял богатую добычу. Можно было попасть на гораздо менее выгодного отца. Но приставать к нему небезопасно: он зубаст. Притом наверно он не знает о существовании ребенка; он может отказаться от него, несмотря на сходство, так поразившее Мешэн. Наконец, он вторично овдовел, был свободен, никому не обязан давать отчет в своем прошлом, так что хоть бы он и признал ребенка, его ничем не запугаешь. А получить с него всего шестьсот франков, слишком мизерно; не для того же им так удивительно помог случай. Нет, нет, нужно подумать, разжевать это дело, найти способ обчистить его как следует.

– Не будем торопиться, – заключил Буш. – Притом же он пал, дадим ему время подняться.

После этого они принялись за обсуждение разных делишек, порученных Мешэн: о молодой женщине, заложившей свои драгоценности ради любовника; о зяте, долги которого будут уплачены тещей, его любовницей, если за нее взяться умеючи, наконец, о массе деликатных подробностей, касательно сложного и трудного дела получения долгов.

Войдя в комнату Сигизмунда, Саккар остановился, ослепленный ярким светом, лившимся сквозь окно, незащищенное занавеской. Комната, обитая бледными обоями с голубыми цветочками, имела пустынный вид: небольшая железная кровать в углу, еловый стол посередине и два соломенных стула, составляли все ее убранство. Вдоль левой стены на полках из почти необделанных досок помещалась библиотека: книги, брошюры, газеты, бумаги всякого рода. Но яркий свет неба, на этой высоте, придавал комнате вид какого-то юношеского веселья, игривой свежести. Брат Буша, Сигизмунд, малый тридцати пяти лет, безбородый, с длинными, жидкими, каштановыми волосами, сидел за столом, подперев тощей рукой широкий выпуклый лоб, поглощенный чтением какой-то рукописи до такой степени, что не слышал, как отворилась дверь, и вошел Саккар.

Этот Сигизмунд был недюжинный человек; он слушал лекции в германских университетах, знал, кроме французского, – языка своей матери, – немецкий, английский, русский языки. В 1849 г. в Кельне он познакомился с Карлом Марксом, был одним из самых популярных сотрудников «Новой Рейнской газеты», и с тех пор его религия установилась: он стал пламенным проповедником социализма, всецело отдаваясь идее близкого социального обновления, которое сделает счастливыми униженных и обездоленных. В то время как его учитель, изгнанный из Германии, принужденный эмигрировать из Парижа после июньских дней, жил в Лондоне, писал, старался организовать партию, он, со своей стороны, предавался мечтам о будущем строе, до такой степени забывая о насущном хлебе, что, без сомнения, умер бы с голода, если бы брат не подобрал его на улице Фейдо, подле биржи, посоветовав ему утилизировать свои знания языком и сделаться переводчиком. Этот старший брат обожал младшего страстною любовью матери; безжалостный волк с должниками, способный зарезать человека из-за десяти су, он разнеживался до слез, когда дело шло об этом

большом ребенке. Он отдал ему лучшую комнату, ухаживал за ним, как нянька, взял на себя ведение их странного хозяйства, подметал, делал постели, заставлял его есть обед, который им носили из соседнего ресторана. Он, такой деятельный, вечно заваленный всевозможными аферами, снисходительно относился к бездействию брата, переводы которого шли очень вяло, часто прерываясь его собственной работой; даже запрещал ему работать, в виду его подозрительного кашля, и, несмотря на свою любовь и жадность к деньгам, снисходительно улыбался его революционным теориям.

Сигизмунд, со своей стороны, не имел никакого понятия о том, что творится в комнате его брата. Он жил в заоблачных сферах, в грезах о высшей справедливости, не зная об этой торговле обесцененными бумагами и безнадежными векселями. Мысль о милосердии оскорбляла его, приводила в бешенство: милосердие – это милостыня, неравенство, освященное добротой; а он признавал только справедливость; право каждого, положенное в основу нового общественного строя. По примеру Карла Маркса, с которым он находился в постоянной переписке, он проводил целые дни в изучении этого нового строя, непрерывно улучшая, переделывая на бумаге новое общество, исписывая цифрами лист за листом, стараясь основать на научных данных сложную организацию всемирного счастья. Он отбирал капитал у одних, распределял его между другими, распоряжался миллиардами, решал судьбы мира одним почерком пера, и все это в пустой комнате, не ведая другой страсти, кроме своих грез, не нуждаясь в удовольствиях, умеренный до такой степени, что брату приходилось почти насильно заставлять его есть мясо и пить вино. Он желал, чтобы всякий трудился по силам и получал по потребностям; а сам убивался над работой и жил аскетом, как истинный мудрец, страшно преданный своим идеям, отрешившийся от материальной жизни, кроткий, целомудренный. С осени прошлого года он начал кашлять все сильнее и сильнее, чахотка овладевала им мало-помалу, но он не замечал ее, не лечился.

Саккар кашлянул; Сигизмунд поднял свои задумчивые глаза и взглянул на него с удивлением, хотя они были знакомы.

– Мне нужно перевести письмо.

Молодой человек удивился еще более: он отвадил своих клиентов – банкиров, спекулянтов, маклеров, весь биржевой люд, получающий массу писем, циркуляров, уставов обществ главным образом из Англии и Германии.

– Да, письмо на русском языке. Всего несколько строк.

Тогда Сигизмунд протянул руку: русский язык до сих пор остался его специальностью; только он мог переводить его бегло, все же остальные переводчики этого квартала пробавлялись немецким и английским.

Он прочел письмо вслух по-французски. Это был благоприятный ответ какого-то константинопольского банкира в двух-трех фразах, простая и коротенькая деловая записка.

– Ах, очень вам благодарен! – воскликнул Саккар, по-видимому, очень обрадованный.

Он попросил Сигизмунда написать перевод на оборотной стороне письма. Но с тем случился страшный припадок кашля, который он старался заглушить платком, чтобы не беспокоить брата. Когда припадок миновал, он подошел к окну и распахнул его, задыхаясь, стараясь отдышаться. Саккар последовал за ним и, выглянув в окно, не мог удержаться от легкого восклицания.

– А, отсюда видна биржа. Какой у нее забавный вид!

В самом деле ему никогда еще не случалось видеть ее с такой высоты, с птичьего полета, откуда она выглядела совсем необычайно, с своей огромной четырехугольной цинковой крышей и целым лесом труб. Острия громоотводов возвышались подобно гигантским копьям, угрожающим небу. Все здание имело вид каменной глыбы, на которой колонны казались полосками, глыбы грязно-серого цвета, голой и безобразной, увенчанной изорванным флагом. В особенности поражали ступени и галерея, усеянные черными муравьями, кишев-

шими в суматохе, которая казалась отсюда, с такой высоты, бессмысленной и жалкой толчеей.

– Какой мизерный вид, – заметил Саккар, – Кажется, всех бы их захватил в горсть, одной рукой. – Потом, зная воззрения своего собеседника, он прибавил с улыбкой: – Когда вы выметете этот сор?

Сигизмунд пожал плечами.

– Зачем? Вы уничтожите сами себя.

Мало-помалу он оживился, подстрекаемый потребностью прозелитизма, которая заставляла его при малейшем намеке излагать свою систему.

– Да, да, вы работаете для нас, сами того не сознавая... Вы – узурпаторы, отнимающие собственность у народа, но, когда вы дойдете до конца, нам останется только отнять ее у вас... Всякая централизация, всякое сосредоточение богатства ведет к коллективизму. Вы даете нам практический урок; огромные имения, которые поглощают мелкую собственность, фабрики, убивающие кустарную промышленность, магазины и банки, которые, уничтожая всякую конкуренцию, наживаются и растут насчет мелких банков и лавочек; все это – медленное, но непреодолимое движение к новому социальному строю... Мы подождем, пока все затрещит, и противоречие современного порядка, доведенного до своих крайних логических последствий, станет невыносимым. Тогда буржуа и крестьяне сами помогут нам.

Слушая его, Саккар ощущал какое-то смутное беспокойство, хотя и считал его мнения бредом.

– Да объясните же, что такое ваш коллективизм?

– Преобразование частных капиталов, живущих борьбой и соперничеством, в единый общественный капитал, эксплуатируемый трудом всех... Представьте себе общество, в котором орудия производства принадлежат всем; каждый работает по своим силам и способностям, а продукты распределяются сообразно труду каждого. Что может быть проще этого, не правда ли? Общее производство в национальных заводах, верфях, мастерских, затем обмен, вознаграждение продуктами. Избыток производства сохраняется в общественных складах, для пополнения случайных дефицитов... Это, как удар топора, уничтожит гнилое дерево. Нет более конкуренции, нет частного капитала, нет, стало быть, денежных операций, рынков, бирж. Идея барыша потеряла всякий смысл. Источники спекуляции, доходов, получаемых без труда, иссякли.

– Ого, – перебил Саккар, – многим придется изменить свои привычки! Но что вы будете делать с теми, кто теперь получает доходы?.. Гундерманн, например... вы отнимете у него миллиард?

– Вовсе нет; мы не воры. Мы выкупим у него все его бумаги, все его доходные статьи чеками на получение продуктов в течение известного числа лет. Представьте себе, что этот огромный капитал заменится подавляющим количеством продуктов: менее чем через сто лет потомкам Гундерманна, как и всем остальным гражданам, придется прибегнуть к личному труду; аннютеты, наконец, кончатся, а им нельзя будет капитализировать свои экономии, избыток продуктов, хотя бы даже сохранилось право наследства. Я вам говорю, что это разом выметет не только личные аферы, акционерные общества, ассоциации частных капиталов, но и все косвенные источники доходов, все системы кредита, ломбарды, наймы, аренды. Остается только одна мера стоимости – труд. Заработная плата, разумеется, уничтожена, так как при настоящем капиталистическом устройстве она не представляет эквивалента действительному продукту работы: она ограничивается лишь тем, что, безусловно, необходимо для существования рабочего. Современный строй заставляет самого добросовестного предпринимателя подчиняться суровому закону конкуренции и эксплуатировать рабочих – иначе ему нельзя жить. Да, нужно изменить всю социальную систему... Нет, вы представьте себе Гундерманна, которому нечего делать со своим правом на продукты, его

наследников, которые, не имея возможности все съесть, должны будут уступить свои права другим и взяться за лопату или заступ, как и все другие.

Сигизмунд засмеялся своим добрым, ребяческим смехом. Красные пятна появились на его щеках; для него не было большого удовольствия, как представлять себе эту иронию будущего порядка.

Саккар чувствовал себя все более и более неловко. Что, если этот мечтатель прав? Если он угадал будущее? Он говорил так толково и разумно.

— Ба! — пробормотал он, успокаивая себя, — не завтра же это случится.

— Конечно, — подтвердил молодой человек, успокоившись и с усталым видом. — Мы живем в переходном периоде. Конечно, могут произойти революционные излишества, насилия. Но это мимолетные увлечения... О, я не скрываю от себя трудностей! Эта счастливая будущность, это новое общество, основанное на принципе труда, кажутся людям несбыточной мечтой. Точно новый мир на новой планете... И потом, должно сознаться, новая организация еще не готова; мы стараемся выработать ее. Я теперь не сплю и думаю об этом целые ночи. Нам могут возразить, например: «если строй таков, как он есть, то значит, логика вещей требовала его». Возможно ли вернуть реку к ее истокам и направить в новое русло!.. Конечно, современный строй обязан своим процветанием индивидуалистическому принципу; соперничество, личный интерес являются источниками изобилия, усиленного производства... Достигнет ли коллективизм такого изобилия? Каким стимулом заменится идея прибыли, которая теперь побуждает рабочего стараться? Вот источник сомнения и муки для меня, слабое место, над которым мы должны поработать, чтобы обеспечить победу за нашими идеями... Но мы победим, потому что справедливость на нашей стороне. Видите вы это здание?.. Видите?..

— Биржу? — сказал Саккар. — Разумеется, вижу.

— Было бы глупо разрушить ее, потому что ее снова выстроят. Но она уничтожится сама собою, когда государство станет единственным и всеобщим банком нации; и почем знать, может быть, она сделается общественным складом для хранения избытка продуктов, и наши внуки будут находить в ней предметы роскоши для своих праздников.

Широким жестом Сигизмунд приветствовал эту будущность всеобщего и одинакового счастья. Он был так возбужден, что припадок кашля возобновился, когда он вернулся к столу, и уткнувшись локтями в бумаги, охватив руками голову, он старался заглушить его. Но на этот раз припадок был сильнее. Внезапно дверь отворилась и вбежал Буш, расстроенный, видимо сам страдая от этого ужасного кашля. Он наклонился над братом, охватил его своими длинными руками.

— Что с тобой, милый?.. Ты опять задыхаешься? Нет, как хочешь, я позову доктора... Это неблагоприятно. Ты, наверное, слишком много говорил.

Он искоса взглянул на Саккара, стоявшего посреди комнаты и все еще не могшего прийти в себя от рассказов этого странного, больного энтузиаста, так легко расправлявшегося с судьбой биржи, все разрушавшего и все перестраивавшего.

— Благодарю, я пойду, — сказал он. — Пришлите мне письмо с переводом... Я ожидаю других; мы сосчитаемся за все разом.

Но Буш остановил его.

— Кстати, дама, которая сейчас была у меня, встречалась с вами когда-то... очень давно.

— В самом деле? Где же?

— В улице Лагарп, № 52.

При всем своем самообладании Саккар побледнел. Губы его нервно дернулись. Он не помнил приключения на лестнице и даже не знал, что девушка забеременела и что у него есть ребенок. Но воспоминание о годах нищеты и унижения всегда было для него очень неприятно.

– Улица Лагарп! Да я там прожил с неделю вскоре после моего приезда в Париж... До свидания!

– До свидания! – сказал Буш, ошибочно принявший его смущение за сознание и уже обдумывавший, каким образом получить воспользоваться этим случаем.

Очутившись снова на улице, Саккар машинально вернулся к бирже. Он был очень взволнован и даже не взглянул на г-жу Конен, хорошенькая, улыбающаяся фигурка которой виднелась в дверях магазина. Волнение его усилилось, когда он вышел на площадь и снова услышал грохот биржи. Остановившись на углу улицы Бирнеи, он вглядывался в толпу, кишевшую на галерее, и, как ему показалось, узнал робкого Мозера и отчаянного Пильро, тогда как из большой залы доносился резкий голос маклера Мазо, покрываемый иногда раскатистым басом Натансона. В эту минуту промчалась мимо него карета и чуть не сбила его с ног. Массиас выскочил из нее, прежде чем кучер успел остановиться, и опрометью бросился по ступенькам, торопясь исполнить поручение какого-то клиента.

Стоя на тротуаре, не сводя глаз с толпы, кишевшей там, вверху, Саккар мысленно перебирал всю свою жизнь. Он вспоминал об улице Лагарп, потом об улице С.-Жан, когда он ходил в стоптанных сапогах, собираясь завоевать Парюк; и бешенство охватывало его при мысли, что Париж все еще не завоеван, что он по-прежнему нищий, по-прежнему должен ловить фортуны, терзаясь жаждой богатства, какой еще никогда не испытывал. Этот маньяк Сигизмунд говорил правду: трудом не проживешь, только дураки трудятся, обогащая других. Только игра дает богатство, роскошь, широкую, полную жизнь. Если далее этот старый мир должен потерпеть крушение, то все же человек, подобный ему, успеет заблаговременно добиться осуществления своих желаний.

Какой-то прохожий толкнул его и даже не извинился. Он узнал Гундерманна: биржевой король совершал свою обычную прогулку. Саккар видел, как он вошел в кондитерскую и вышел оттуда с коробкой дешевых конфет для своих внуков. Этот толчок в такую минуту, когда его возбуждение и без того достигло крайнего предела, был как бы последней каплей, заставившей его принять окончательное решение. Он кончил осмотр местности; он начнет осаду. Он давал клятву биться до последней капли крови; он останется во Франции, наперекор желанию брата, и сыграет последнюю отчаянную партию, которая либо покорит ему Париж, либо погубит его самого.

До самого закрытия биржи он оставался на своем наблюдательном посту. Он видел, как опустела галерея, и толпа, усталая и разгоряченная игрою, медленно хлынула по лестнице. Вокруг него по-прежнему шла суета, сновали экипажи и люди, толпа, предназначенная для эксплуатации, будущие акционеры, невольно оборачивавшие головы проходя мимо биржи с смешанным чувством страха и желания проникнуть в тайну финансовых операций, тем более заманчивую для французских мозгов, что очень немногие из них в состоянии овладеть ключом этой тайны.

II

После своей последней и разорительной операции с землями, Саккар, уступив свой дворец в парке Монсо кредиторам, чтобы избежать пущей катастрофы, думал было приютиться у сына, Максима. Последний, по смерти жены, занимал целый дом в улице Императрицы, устроив свою жизнь с благоразумием черствого эгоиста; он проедал помаленьку состояние покойной, не позволяя себе никаких излишеств, как человек слабого здоровья, которого пороки состарили преждевременно. Он наотрез отказался принять отца к себе, прибавив с хитрой улыбкой, что делает это для сохранения хороших отношений.

Саккару пришлось искать другого убежища. Он уже собирался нанять домик в Пасси – тихую пристань коммерсанта, отказавшегося от дел – когда вспомнил, что нижний и второй этажи в отеле Орвиедо, на улице Сен-Лазар, не заняты, стоят с заколоченными окнами и дверями. Княгиня Орвиедо по смерти мужа занимала три комнатки, в третьем этаже, и Саккар, бывавший у нее по делам, не раз выражал удивление, почему она не извлекает никакой пользы из своего дома. Но княгиня только покачивала головой; у нее были свои теории насчет денежных дел. Однако, она согласилась отдать ему в наем нижний и первый этажи за смешную цену в десять тысяч франков, хотя это пышное княжеское помещение стоило по меньшей мере вдвое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.